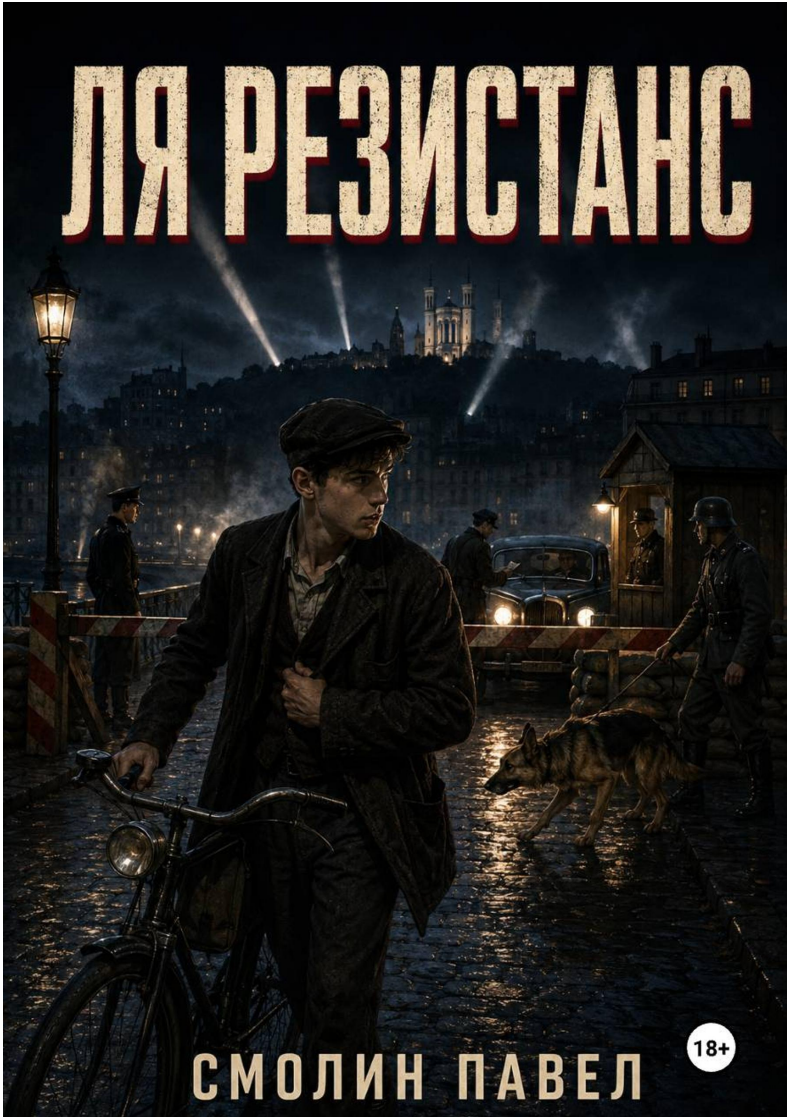
ЛЯ РЕЗИСТАНС



СМОЛИН ПАВЕЛ

18+

Павел Смолин
Ля Резистанс

https://litres.ru/74316174
SelfPub; 2026

Аннотация

Полковник в отставке, всю жизнь ловивший партизан, умирает в кресле в две тысячи первом — и просыпается в теле шестнадцатилетнего Жака Лефевра, начинающего бойца французского Сопротивления. Лион, ноябрь сорок первого. Немцев в городе ещё нет, подполье состоит из мальчишек, красиво говорящих о Свободе, а первая же явка проваливается.

У него нет ни оружия, ни денег, ни имени, которое он мог бы считать своим. Зато есть двадцать лет работы по другую сторону: он знает, как ищут, сколько живёт неопытная сеть в городе и какая ошибка выдаст её за неделю до провала.

А еще он терпеть не может французское кино.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 19
Глава 3 34
Глава 4 48
Конец ознакомительного фрагмента. 49

Павел Смолин
Ля Резистанс

Глава 1

Глава 1.

Последнее, что я видел в прежней жизни, — двое французов курили и молчали.

Молчали долго и, судя по всему, о чем-то невыносимо важном. Один смотрел в окно, второй в стакан. За окном шел дождь. Музыки не было — музыка это пошло. Камера стояла чуть косо, и я минут двадцать ждал, что она выпрямится, но она так и не выпрямилась, потому что косо — это была мысль.

Диск привез внук. Сказал: деда, это классика, ты оценишь.

Я досматривал из принципа. Если отдал полтора часа, глупо не дожать; тем более что финала у таких фильмов обычно нет и надо еще застать момент, когда его не будет. На двадцать второй минуте молчания у меня заболело слева в груди — не резко, а по-хозяйски, будто пришли, сели и сняли пальто.

Я успел подумать ровно одно: вот, значит, чем.

Мне было семьдесят шесть лет, и я не жалуюсь. Свое отжил, свое отработал, и в общем знал, за что мне это. Но я всю жизнь считал, что французское кино — диагноз, и умирать от него было почти неприлично.

Потом стало темно, и это было нормально.

Ненормально стало, когда темнота начала пахнуть.

Пахло горячим свинцом, керосином, сырой бумагой и кислой типографской краской. Запах был плотный, узнаваемый и совершенно определенный — так пахнет цех, в котором только что работали.

Я лежал на боку, на бетоне, и бетон был холодный.

Сверху топали.

Топали много и вразнобой, десяток пар ботинок по деревянному настилу, и в этом топоте не было ничего военного: так ходят люди, которым не по себе, и которые для храбрости ходят громче, чем нужно. Кто-то опрокинул что-то тяжелое и железное. Кто-то заорал, чтобы не орали.

Я открыл глаза и не увидел ничего, кроме серого прямоугольника под самым потолком — окна, забранного решеткой в четыре прута.

Хорошо. Начнем с описи.

Голова. Над левым ухом шишка размером с яйцо, кровь запеклась в волосах, зрение не двоится, тошноты нет. Сотря-

сение легкое, работать можно.

Руки.

Руки были не мои.

Я поднес их к лицу и посмотрел на них внимательно, потому что смотреть на них внимательно было единственным разумным действием. Тонкие. Длинные грязные пальцы, чернильное пятно на костяшке среднего, ноготь на большом обгрызен под корень, кожа на костяшках содрана. На запястье не было ни часов, ни шрама от осколка, который я носил с сорок четвертого года.

Я сел.

Я сел так, как не садился шестьдесят лет: одним движением, без опоры на локоть, без хруста в пояснице и без той короткой паузы, за которую спина решает, будет она сегодня сотрудничать или нет. Тело было легкое. Не бодрое — именно легкое, как будто с меня сняли мешок, который я таскал так долго, что перестал замечать.

Килограммов пятьдесят пять, прикинул я. Мальчишеских.

И еще одно, чего я не заметил сразу, потому что оно ничему не мешало.

Я видел грязь у себя под ногтями. Отчетливо, каждую полоску, при сером свете из подвального окна. Последние двадцать лет я не видел так ничего ближе вытянутой руки без очков в железной оправе, которые лежали сейчас на столике возле кресла, в шестидесяти годах отсюда.

Я отметил это как ресурс и пошел по описи дальше.

Наверху хлопнула дверь, и по лестнице пошли вниз.

Вот тогда я и услышал, что в подвале я не один.

Слева, у самой стены, между стеллажом и станиной, кто-то дышал. Дышал плохо — с присвистом на вдохе и с бульканьем на выдохе, и я знал этот звук так же хорошо, как знал запах цеха. Проникающее в грудь. Легкое.

— Жак, — сказал он.

И это ударило меня сильнее, чем всё предыдущее вместе взятое, — потому что он смотрел прямо на меня, и я понял, что Жак — это я.

Про себя скажу коротко, один раз, и больше возвращаться не буду.

Я родился в двадцать пятом году. Фамилию не назову — она мне здесь не понадобится ни разу. Три войны. Первая своя, с сорок третьего, и это была честная война, где противник ходил в форме и стоял напротив. Потом лес и хутора, восемь лет, и там уже никто не стоял напротив. Потом учебный центр, потом две чужие войны в качестве советника, где я объяснял смуглым серьезным людям то, что мне самому объясняли кровью.

Я двадцать лет ловил тех, кто прячется. Кто живет по чужим документам, носит записки в детских корзинках, ночует через ночь на новом месте и взрывает то, что можно взо-

рвать.

Я знал про них всё. Как они начинают — с восторга. Как ошибаются — от восторга. На чем горят — на близких, на жалости и на бумаге, которую жалко уничтожить. Сколько живет неопытная сеть в городе — от четырех недель до трех месяцев, и я умел назвать причину провала заранее, за месяц, глядя на схему.

Всю свою жизнь я был по другую сторону от этого подвала.

Как и почему я оказался по эту, я спросил себя ровно один раз, лежа на бетоне. В ответ по лестнице пошли вниз, и вопрос снялся сам как непродуктивный.

— Жак, — повторил человек у стены. — Список.

Я подполз к нему.

Лет тридцать, тяжелый, широкий в кости, куртка на груди мокрая и черная. Пуля вошла справа под ключицей и наружу не вышла. На губах пузырилось. Он был еще совсем живой, в полном сознании, и глаза у него были ясные и злые.

Он мотнул подбородком в сторону наборной кассы.

Я встал и пошел смотреть. За кассой, в щели между стеной и деревянной рамой, лежал сложенный вчетверо лист. Я развернул его и минуту стоял, ничего не делая, потому что зрелище было слишком хорошее, чтобы портить его торопливостью.

Четырнадцать фамилий. Против каждой — адрес. Против семи — вторым столбиком приписка карандашом, что этот человек умеет и чем полезен. Всё аккуратным писарским почерком, на хорошей бумаге, одним листом, в единственном экземпляре.

Я держал в руках расстрельный список на четырнадцать семей, составленный ими самими, и это было ровно то, что я двадцать лет находил в чужих схронах и за что двадцать лет благодарил Бога.

Прежде чем жечь, я обошел тайник кругом, потому что один список никогда не бывает один.

Под кассой лежала ученическая тетрадь в клетку. Расход бумаги, расход краски, даты, инициалы, кто когда приходил и сколько часов отработал. Бухгалтерия. Аккуратная, за три месяца, с подведенными итогами и линейкой прочерченными графами.

Я подержал ее в руках и подумал о человеке, который ее вел. Он был честный и добросовестный, он экономил чужую краску, и этой тетрадью он убил бы больше народу, чем списком.

Линотип стоял в двух шагах. Тигель еще держал тепло — работали час назад, не больше, металл в нем был серый сверху и живой внутри. Я взял черпак, проломил корку и утопил лист. Следом, по одному развороту, ушла тетрадь.

Бумага на расплавленном свинце не горит красиво. Она чернеет, сворачивается, вспыхивает без звука и через две се-

кунды становится ничем. Пепел я размешал.

Наверху шли по лестнице и по дороге отбивали ногами перила — просто так, для звука.

Я сел на корточки рядом с раненым.

— Списка нет, — сказал я. — Я его сжег. Он не существует. Кто его еще видел?

Он смотрел на меня. Дыхание у него было плохое, но соображал он быстрее половины офицеров, которых я знал.

— Никто. Я писал.

— Наизусть помнишь?

— Да.

— Забудь семь. Оставь семь и переставь адреса.

Мой голос дал петуха на последнем слове. Мальчишеский, ломающийся, ни разу не командирский голос, и человек с дыркой в легком выслушал его до конца и кивнул.

Наверху в этот момент раздалось то, из-за чего я запомнил эту ночь навсегда.

Кто-то на лестнице крикнул по-французски, что дверь заперта и надо ломать. Ему ответили, чтобы не ломали, а искали ключ. Началась обычная в таких случаях перебранка — с матерью, с начальством и с бригадиром, у которого всегда всё не как у людей.

И сквозь перебранку, ровно, негромко, не повышая голоса, второй человек сказал:

— Unten. Die Treppe links.

Внизу. Лестница налево.

Я понял это раньше, чем понял, что это другой язык.

Немецкий я учил не в школе. Я учил его по трофейным солдатским книжкам, по путаным ответам на допросах и по бумагам, которые вынимал из карманов мертвых, и учил хорошо, потому что от этого зависела работа. За шестьдесят лет он никуда не делся и лег обратно как влитой.

Но дело было не в языке.

Дело было в том, что там, наверху, десяток французских полицейских, орущих друг на друга при исполнении, услышали немецкую фразу — и ни один не обернулся. Ни один не переспросил. Никто не удивился и не заткнулся. Перебранка просто кончилась, и они пошли вниз по лестнице налево, как им было сказано.

Так ведут себя не с чужим. Так ведут себя с тем, к кому привыкли.

Значит, у них там есть человек, и человек этот не орет и не бегает. Значит, про подвал знали заранее. Значит, тут не облава по наводке дворника, а работа.

За четверть часа в этой стране я узнал о ней больше, чем собирался.

Наверху между тем начали разбирать станок.

Я слушал и различал по звуку каждое действие: сняли валы, откручивают станину, кто-то уронил тяжелое и получил за это словами. Это была не охота на людей. Это был вывоз

имущества, спокойный и по описи, и люди в этой описи шли вторым пунктом, после машины.

Мне это было на руку, и мне это очень не понравилось. На людей ходят злые. За имуществом ходят аккуратные. Аккуратные хуже.

Дальше была арифметика, и она решилась за полторы секунды.

Окно под потолком, сорок на пятьдесят, четыре прута, из которых два держатся в трухлявой раме на честном слове — я проверил их взглядом еще лежа, потому что выходы смотрят раньше, чем здороваются. Во мне пятьдесят пять килограммов и рост метр шестьдесят с небольшим. В нем килограммов семьдесят пять, из них двадцать — плечи, и он не встанет, а если встанет, то на один шаг.

Задача не имела решения. Ни одного, ни при каких допущениях. Я перебрал их все и не нашел там даже красивого варианта, за который потом было бы приятно себя ругать.

Люди в моем возрасте — в настоящем моем возрасте — такие вещи не переживают. Их считают.

Я наклонился к нему.

— Меня здесь не было, — сказал я. — Списка не было. Ты его не писал, ты его в глаза не видел. Спросят — назови десять адресов. Придумай сам, вразброс: два в Гийотьере, один за вокзалом, остальные подальше. Не отдавай сразу.

Держись, потом отдай один. Потом торгуйся и отдай второй.

Он моргнул. Я видел, как он это укладывает и как ему становится легче, — потому что человеку с дырой в груди нужна не жалость, а задача.

— Понял, — сказал он.

Я взял с полки жестянку с выручкой, вытряхнул в карман — восемьсот двадцать франков мелкими, я пересчитал их потом под аркой и остался недоволен, — и придвинул ящик к стене под окно.

За спиной он сказал:

— Уходи, малыш. Ты хороший парень.

Я стоял на ящике и держался за прут.

За семьдесят шесть лет меня называли по-разному. Толковым офицером. Сволочью. Товарищем полковником. Один раз, в шестьдесят третьем, — «этот, который считает». Про меня говорили много всякого, и почти всё было верно.

Хорошим парнем меня не назвал ни один человек.

Прут вышел из рамы вместе с трухой, второй я вынул руками. Я подтянулся, вылез плечами, ободрал бок о раму и вывалился в мокрый двор.

Позади, в подвале, он начал считать вслух до десяти, чтобы у меня было время.

Двор был колодец: четыре стены, темные окна, бельевые веревки и запах кошек. Из него вел крытый проход в сосед-

ний двор, а оттуда — арка на улицу.

Мне потом объяснят, что это называется трабуль и что это очень романтично.

В ту ночь я увидел мешок с двумя выходами. Оба простреливались бы одним человеком с фонарем, если бы у них хватило людей. Людей у них не хватило — они пришли за машиной и за бумагой, а не за людьми, и это была их единственная ошибка за ночь.

Я прошел проход, не касаясь стен, и встал под аркой.

Считал я по привычке, а не потому, что это было нужно.

На восьмой минуте в глубине квартала хлопнуло.

Один раз.

Я стоял под аркой и досчитал до шестидесяти. Потом еще до шестидесяти.

Второго выстрела не было.

Я мог объяснить этот хлопок четырьмя способами, и все четыре были одинаково правдоподобны. Три из них ничего не меняли в моих ближайших действиях, а четвертый менял, но проверить его я мог только вернувшись, а возвращаться было нельзя.

Я выбрал тот вариант, который не мешал работать, и вышел на улицу.

Они стояли через дорогу, у чугунной тумбы, и не прятались.

Здоровенный парень в кепке набок, с погасшей сигаретой в углу рта, руки в карманах, плечи развернуты; он был до отвращения похож на что-то, что я когда-то смотрел и о чем зарекся вспоминать. Рядом с ним — девочка лет четырнадцати, в берете, надвинутом набок, и она смотрела на арку с таким живым любопытством, будто пришла на представление и боялась опоздать.

Мокрая мостовая, желтый фонарь, тумба, берет.

Ну конечно, подумал я. Разумеется.

Парень выдернул руки из карманов и пошел ко мне через дорогу быстро и криво.

— Жак!

— Тише, — сказал я.

Он сбавил шаг. Не от послушания — от неожиданности.

— Марсель, он весь в крови, — сказала девочка деловито.

— Не в своей, — сказал я. И потом, потому что тянуть было нельзя: — Кто ушел, знаете?

— Двое через крышу. Люка с ними. — Марсель мотнул головой в сторону реки. — Больше не видел. Жак… а Ги?

Вот так я узнал, как его звали.

— Ги остался, — сказал я.

Марсель постоял.

Я видел по его лицу, как в нем это складывается, и складывается само, без моего участия. Мальчишка пришел последним. Мальчишка весь в чужой крови. Ги остался. Значит, малыш был с ним до конца, прикрывал и вышел, когда

уже нельзя было не выйти.

Он снял кепку, зачем-то смял ее и надел обратно.

— Ясно, — сказал он хрипло.

Я не стал поправлять.

Не потому, что берег репутацию: репутация мне в ту минуту была не нужна, я вообще не был уверен, что доживу до утра, и не знал даже, в какую сторону идти. Просто объяснять, как оно было на самом деле, вышло бы долго, а времени у нас было минут пять.

Уже потом, месяца через три, когда эта история обросла подробностями, которых там не было, и мне ее пересказал незнакомый человек в кафе, я подумал, что вся моя здешняя жизнь стоит на фундаменте из одной непоправленной фразы.

Работать это, впрочем, не мешало. Наоборот.

— Надо туда, — сказал Марсель и посмотрел на арку. — Надо посмотреть, может…

— Не надо.

— Ты чего?

— Они еще там минут сорок, — сказал я. — Потом оцепление снимут и оставят пост. На посту будет один, и он будет смотреть на арку, потому что ему больше не на что смотреть. Мимо него надо будет пройти два раза: туда и обратно. Не сегодня.

Марсель открыл рот и закрыл.

— Их приехало четырнадцать, — сказала девочка. — Два

фургона и легковая. Из легковой вышел один, в пальто, без формы. В дом он сразу не пошел. Стоял на углу и курил, а потом зашел вместе со всеми.

Я повернулся к ней.

— Сколько он стоял?

— Долго. — Она пожала плечами. — Я считала.

Ей было четырнадцать лет. Она стояла ночью напротив полицейской облавы, в двадцати шагах от фургонов, и считала машины, потому что ей было интересно, сколько их.

Я поставил на ней пометку и почувствовал что-то похожее на тошноту.

Девочка перевела глаза с арки на меня. Это был первый раз, когда она посмотрела на меня внимательно, и мне это сразу не понравилось.

— Колетт, — сказал Марсель. — Домой.

— С вами.

Их было двое. Девочка в берете набок и здоровенный парень с сигаретой в углу рта, а дальше по улице лежал мокрый ноябрьский Лион сорок первого года, город, о котором я знал ровно одно: здесь делают шелк.

У меня не было документов, оружия, плана, крыши над головой, которую я мог бы найти без посторонней помощи, и имени, которое я мог бы считать своим. Было восемьсот двадцать франков мелочью в чужом кармане, сожженный список, чужая незаслуженная репутация и двое детей, которые смотрели на меня и ждали, что я скажу.

Я умер первого октября две тысячи первого года. Это была единственная точная дата, которая у меня оставалась, и здесь она не стоила ничего.

Ни одного из этих обстоятельств я не мог изменить до утра.

Но пошли.

Глава 2

Глава 2.

Первым отвалился Марсель.

Он довел нас до угла, потоптался, сказал, что зайдет завтра, потом сказал это еще раз, потом велел мне запереться и никому не открывать. Ему было девятнадцать лет, он был на голову выше меня и втрое тяжелее, и он остро нуждался в том, чтобы кому-нибудь что-нибудь приказать. Я дал ему это сделать. Стоило недорого.

— Завтра, — сказал он в третий раз и ушел вниз, в сторону реки, широко и косолапо, ставя ноги, как ставит человек, привыкший таскать тяжелое.

Мы остались вдвоем.

И тут выяснилась вещь, которую я не додумал под аркой, потому что под аркой у меня были заботы поважнее.

Я не знал, где я живу.

Знал город на уровне названия. Знал, что здесь делают шелк и что реки две. Всё. Стой я один на этом углу — я бы решал задачу часа полтора, и решил бы, у меня были для этого и способ, и время до комендантского часа.

Девочка в берете повернулась и пошла вверх по улице.

Я пошел за ней.

Она шла молча, и я был ей за это благодарен. Улица задиралась вверх круто, лестницами, и лестницы были мокрые.

Круа-Рус — квартал вертикальный. Он стоит на склоне, и в нем всё либо поднимается, либо спускается, и человек, который живет здесь с рождения, идет вверх с той же скоростью, что и вниз. Я это отметил и вспомнил про засечку времени на маршрут: в холмистом городе все расчеты по времени врут в одну сторону, и врут прилично.

А потом начало распаковываться.

Это было очень странное ощущение, и я больше никогда в жизни ничего похожего не испытывал, так что описываю как умею.

Мы прошли мимо темной витрины булочной — и я знал, что она открывается в шесть, что хлеб по карточкам выдают до девяти и что после девяти можно попросить у мадам Ру то, что осталось, но только если ее нет мужа. Откуда я это знал, было непонятно. Я просто это знал, как знают, что вода мокрая.

Через десять шагов — арка, и от арки пахнуло сыростью, кошками и мокрым камнем, и вместе с запахом пришло: здесь дерутся с ребятами с рю Дюмон, и здесь у меня выбили зуб три года назад, вот этот, слева, и он потом вырос кривой.

Я провел языком по зубам. Кривой был на месте.

Дальше пошло гуще. Оно приходило кусками, без порядка, привязанное не к именам и не к датам, а к запахам, к уг-

лам и к ступенькам. Кто на какой лестнице живет. У кого собака. Где надо перешагнуть, потому что четвертая ступенька шатается с довоенных времен, и я перешагнул ее за секунду до того, как понял, что перешагиваю.

Ни одного из этих сведений я не заказывал.

Я попробовал заказать сам — потянуть за что-нибудь нужное. Кто в квартале болтливый. У кого в семье полицейский. Кто из соседей вдруг стал жить лучше, чем в прошлом году.

Пусто. Абсолютно.

Мне выдали архив шестнадцатилетнего мальчика, и в этом архиве в подробностях хранилось, у кого какие глаза во втором ряду, и не хранилось ничего, что могло бы понадобиться взрослому человеку. Он смотрел на этот квартал шестнадцать лет и видел в нем друзей, врагов и симпатичных девушек. Я смотрел на тот же квартал и видел подходы, окна и людей, которых нужно проверить.

Придется переписывать вручную, подумал я. Всё, до последней ступеньки.

Девочка остановилась у двери и обернулась.

— Ты чего плетешься, — сказала она.

Дом был узкий и высокий, шесть этажей, с одним подъездом. Внизу, за стеклянной дверью с наклеенной бумажной полосой, темнела прачечная: чаны, каток, веревки под по-

толком, и запах — щелок, мокрая ткань, синька, — от которого у меня в горле встало что-то чужое и горячее.

Мама там работает, сообщил мне архив. Она там всегда.

Спасибо, сказал я архиву. Очень своевременно.

Мы поднялись на пятый. На площадке было темно, но под дверью светилась щель.

Колетт посмотрела на щель, потом на меня, и в первый раз за ночь на ее лице появилось что-то похожее на человеческое чувство.

— Не спит, — сказала она.

И вошла первой.

Мадлен Лефевр сидела за столом, в пальто поверх ночной рубашки, и штопала.

Ей был сорок один год. Она была невысокая, сухая, с прямой спиной и с тем особенным лицом, которое делается у женщин, работающих в пару и в щелоке: кожа как будто немного вываренная. Руки я разглядел позже, при свете, и руки были хуже лица.

Она подняла глаза.

И меня накрыло.

Я стоял в дверях чужой квартиры, в чужом теле, и меня заливало чужой любовью — плотной, детской, дурацкой, ни на чем не основанной, из тех, которые не спрашивают разрешения. Мне хотелось подойти и уткнуться ей в плечо. Мне,

семидесяти шести лет от роду, вдовцу, полковнику в отставке, у которого была своя мать и которая умерла в шестьдесят восьмом году в областной больнице, и я приехал на третий день.

Это был не мой товар. Мне его выдали вместе с телом, и вернуть было некому.

Я стоял навытяжку — а точнее, тело мое как раз навытяжку не стояло. Оно сгорбилось, спрятало руки за спину и опустило глаза в пол, само, без моего участия, быстро и умело, как делает то, что делало тысячу раз.

Я командовал людьми в трех войнах. Я разговаривал с генералами, которые могли меня уничтожить, и разговаривал ровно. Я вел допросы, где человек напротив знал, что живым не выйдет, и мне это не мешало.

Я стоял перед прачкой сорока одного года и не мог выговорить ни слова.

— Мам, — сказала Колетт с порога, — я его встретила у Марселя. У них там мотоцикл, они его чинили, и он весь измазался, а потом мы шли, и на площади была полиция, и нас не пускали, поэтому долго.

Она сказала это на одном дыхании, легко, глядя матери прямо в глаза, и половина в этом была правдой, и правда стояла именно там, где ее можно проверить.

Я слушал и холодел.

Так не врут в четырнадцать лет. Так врут годам к тридцати, и то не все.

Мадлен дослушала. Отложила штопку. Посмотрела на дочь.

— Спать, — сказала она.

— Мам…

— Спать.

Колетт ушла за занавеску, и я услышал, как она там раздевается, шумно и демонстративно, чтобы всем было слышно, какая она послушная.

Мы остались вдвоем.

Мать смотрела на меня долго. На рубашку — темную, поэтому на ней ничего не было видно, я проверил еще на мосту. На руки, отмытые в Соне до синевы. На шишку над ухом, которую я забыл прикрыть волосами.

А потом сказала:

— Где твоя куртка?

У меня было четыре версии. Я собрал их еще на лестнице, машинально, как складывают вещи в мешок: отдал замерзшему, порвал и выбросил, оставил у Марселя, украли.

Все четыре были рабочие. Любую из них я мог подать так, что взрослый мужчина проглотил бы и не поперхнулся.

Я открыл рот и не сказал ничего.

Потом закрыл.

Дело было не в том, что версии плохие. Дело было в том, что тело, в котором я сидел, шестнадцать лет врало этой жен-

щине и ни разу не соврало удачно, и оно знало это лучше меня. У него были свои рефлексы, и все они работали против меня: голос садился, глаза уезжали, плечи подбирались. Я мог бы продавить, если бы говорил чужими словами и чужим лицом. Но лицо было его.

Мадлен ждала.

Я сказал:

— Испачкал.

— Чем.

— Мазутом.

— Покажи.

— Выбросил.

Тишина стояла секунд десять. Я слышал, как за занавеской перестала возиться Колетт: слушала.

— Куртка была отцовская, — сказала мать. — Перешитая.

Вот этого архив мне не выдал вовремя. Он выдал это сейчас, с опозданием на полторы минуты, целым куском: серое сукно, обшлага в два раза подвернуты, запах — табак и еще что-то, чего у нас в доме давно нет.

Анри Лефевр, тысяча восемьсот девяносто пятого года рождения. Верден, шестнадцатый год. Умер в июне сорокового на дороге под Мулен-Анжибо, лег на жену и на детей в кювете, когда с воздуха стали бить по колоннам.

Мальчик всё это видел. Значит, теперь и я тоже.

Я стоял и держал это в себе, и мне понадобилось усилие,

которого я не прикладывал уже лет тридцать.

— Иди спать, — сказала Мадлен.

И всё. Ни крика, ни вопросов, ни «где ты был». Она встала, собрала штопку и понесла лампу на кухню, и у двери, не оборачиваясь, добавила ровным голосом:

— Зима на носу.

Я много раз в жизни выходил из разговоров проигравшим. Обычно я хотя бы понимал, на каком ходу.

Кровать была короткая, у стены, под скошенным потолком. Матрас продавлен точно по чужой спине, и чужая спина легла в него как влитая.

До четырех утра я не спал. Не от нервов — от работы: архив досыпался.

Он шел уже не кусками, а сплошняком, и я лежал и разбирал его, как разбирают трофейный ящик с бумагами — быстро, безжалостно, откладывая нужное и не жалея остального.

Нужного было мало.

Отец. Верден, газ, восемнадцать лет кашля по ночам, мастерская, руки в мазуте, немногословный. Июнь сорокового, дорога, кювет, самолеты. Мать после этого — вот такая, как в кухне.

Папаша Тибо, компаньон отца, друг с девятьсот шестнадцатого. Мастерская в Гийотьере. Я там работаю. Ученик,

второй год.

Марсель — сын покойной отцовой сестры, живет с бабкой на Гранд-Кот.

Типография. Полгода. Пришел туда за компанию, потому что позвал Ги, а Ги позвал, потому что мальчишка на велосипеде не привлекает внимания. Кто такой Ги, откуда он взялся и на кого работает — мальчик не знал и не спрашивал, ему было интересно и лестно.

Список. Ги писал его при мальчике, и мальчик стоял рядом и держал лампу.

Я лежал в темноте и думал, что мне достался не боец, а причина провала. Их всегда берут через таких: через того, кто держит лампу.

Потом я подумал еще одну вещь, один раз.

Сейчас, в эту самую ночь, за две тысячи километров к востоку отсюда, лежит на койке шестнадцатилетний мальчишка двадцать пятого года рождения, голодный, и ждет, когда ему придет повестка. До фронта ему еще полтора года. Он ничего не знает ни про Лион, ни про меня, ни про то, чем всё это кончится.

Я подумал это ровно один раз и запретил себе продолжать. У меня не было ни инструментов, ни времени, а в конце этой дорожки стоит очень тихое и хорошо оборудованное помещение, из которого не выходят.

Я повернулся к стене и стал считать выходы из квартала.

Их было четыре, и два из них никуда не годились.

Утром я украл сам у себя.

Восемьсот двадцать франков лежали у меня в кармане со вчерашнего, и с ними надо было что-то делать до того, как их найдет мать, — а мать нашла бы, потому что мать в этом доме находила всё.

Домой нельзя. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни франка, ни бумажки. Я это правило потом объявлю вслух и его потом все будут нарушать, но начал я с себя и в первое же утро.

По дороге я разделил их на три части и разложил в трех местах. Одно место было хорошее, два — временные и плохие, и меня это раздражало весь день. Раздражало настолько, что уже к вечеру я знал, чем займусь в ближайшие ночи.

Отдельно я подумал, чьи это, собственно, деньги.

Деньги были кассы, касса была общая, а общего у меня в этом городе не было ничего. В прошлой жизни я знал, как это называется, и знал даже, какая за это статья. Здесь у этого пока не было названия, потому что не осталось никого, кто мог бы заявить о пропаже: жестянка вместе со всем цехом уехала в фургоне.

Значит, этих денег не существовало.

Ими я и жил потом полгода, и на них же вытащил первого человека.

Мастерская Тибо стояла в Гийотьере, за мостом, в тупике между складом и красильней. Три бокса, яма, верстак, во дворе — разобранный «рено» на чурбаках и штабель шин, за которые в сороковом можно было купить квартиру, а теперь квартиру и просили.

Я ехал туда на велосипеде, через мост, в тумане, в котором Рона была не видна, а слышна.

Мальчишка на велосипеде едет через мост в утреннем тумане.

Я поймал себя на этом кадре, обозлился и стал крутить педали быстрее.

Тибо был во дворе.

Пятьдесят шесть лет, шея как у быка, руки в трещинах, кепка на затылке. Он стоял, вытирал ветошью деталь и смотрел, как я подъезжаю, и он смотрел на меня уже тогда, в первое же утро, и я это заметил и ничего не смог с этим сделать.

— Явился, — сказал он.

— Явился.

— Карбюратор на верстаке. Он не мой, он мсье Броссара, и мсье Броссар святой человек, он ждет с четверга.

Я взял карбюратор.

И вот тут выяснилась вторая хорошая новость за двое суток.

Руки умели.

Я понятия не имел, как разбирают карбюратор тридцать

четвертого года, — а руки имели. Они сняли крышку, вынули иглу, поставили ее на ветошь острием вверх, потому что так не потеряется, и полезли за жиклером, и всё это делалось само, пока я думал совершенно о другом. Тело, которое шестнадцать лет ходило в лицей и второй год ходило в мастерскую, знало свою работу, и знало ее прилично.

Это меняло очень многое. У меня были не только легкие ноги. У меня были руки с ремеслом, а ремесло — это легенда, деньги и повод ездить по городу.

Я продул жиклер и спросил:

— Папаша, сколько бензина через нас проходит в месяц?

Тибо перестал вытирать деталь.

— Чего?

— Бензина. По талонам, по разнарядке. Сколько выписывают, сколько списываем, кто подписывает бумагу.

Он смотрел на меня секунды три.

Три секунды — это очень много. Я это понял в ту же минуту и обозлился на себя всерьез: я дал мальчишке задать вопрос, который мальчишки не задают. Не «а можно я поеду», не «а дай прокатиться», а «кто подписывает бумагу».

— Ты чего это вдруг, — сказал Тибо медленно.

— Мать спрашивала, — сказал я. — Насчет фургона в прачечную.

Соврал плохо. Но соврал в ту сторону, куда старику было приятно поверить, а это работает лучше хорошей лжи.

Он крякнул и вернулся к своей детали.

К обеду он заговорил сам.

— На Терм ночью типографию накрыли, — сказал он, не глядя. — Полиция. Машину увезли, взяли троих. Говорят, один готов.

Я молчал.

— Дурак кто-то держал станок в подвале с одним выходом, — сказал Тибо. — Умные люди, красивые слова. Тьфу.

— Больше не повторится, — сказал я.

Не потому что вырвалось. Потому что мне нужно было, чтобы старик услышал именно это и запомнил, что мальчишка сказал это спокойно.

Тибо поднял голову.

Тут он и произнес эту свою фразу, которую я потом услышу еще раз двести, — и мальчик, чью память я донашивал, слышал ее с восьми лет, и она хранилась у него в архиве в одной ячейке с запахом мазута.

— Под Дуомоном тоже так думали, — сказал папаша Тибо.

Считать я сел вечером, во дворе, на штабеле шин, пока не стемнело окончательно.

Не записывая. Я больше вообще ничего не записывал — ни в тот вечер, ни через год, ни разу; и когда меня спрашивали почему, я отвечал, что у меня хорошая память, и это было правдой, но не главной.

Итак.

В цеху той ночью было восемь. Ги — минус. Троих взяли — минус. Остается четверо ушедших, и я пятый.

Пятеро.

Дальше я стал считать не людей, а их поведение, потому что люди меня в тот момент не интересовали, а поведение решало всё.

Дидье Люка, наборщик, заика, ушел по крыше. Утром вышел на работу в свою легальную типографию, к восьми, как ходит два года.

Второй — которого мальчик знал в лицо и не знал по фамилии — сидит дома у матери на Круа-Рус и не выходит третьи сутки. Это заметнее, чем ходить.

Третий, по кличке Шарло, вчера был в кафе на площади и рассказывал. Мне это принесли за день дважды, и оба раза принесли те, кому вообще не следовало этого знать.

Четвертый уехал к родне в Сент-Этьен и, вероятно, считает, что спасся. Он уехал по своим документам, на поезде, с вокзала Перраш, и его дорога сейчас лежит в жандармской сводке ровной строчкой.

И пятый я. С шишкой над ухом, без куртки, в доме, где меня видели вчера ночью двое соседей.

Взятые дадут показания. Не потому, что предатели, — потому что их трое, они не подготовлены, а тот, кто вел вчера облаву, судя по всему, свою работу знает и в ночную смену не орет.

Пятеро незнакомых мне мальчишек и мужиков ходили сейчас по городу, дышали, ели свой паек и были совершенно уверены, что раз пронесло — значит, пронесло.

Их возьмут всех.

По моим прикидкам — за неделю. По опыту — за четыре дня.

Я слез с шин и пошел за велосипедом.

Глава 3

Глава 3.
Первая неделя

По опыту у меня было четыре дня, и я потратил их на арифметику.

Не на подвиги. Подвиги — это когда не хватило времени на арифметику.

Первое, что я сделал, — разложил пятерых уцелевших по трем графам: спасать, отсекать, списать. Графа была не про людей, а про поведение, потому что людей я не знал, а поведение видел.

Спасать — двое. Отсекать — один. Списать — двое.

Списанных я вычеркнул в среду, и до сих пор считаю, что вычеркнул правильно.

Первым списался тот, что уехал в Сент-Этьен.

Он взял свои документы, свои деньги, пошел на Перраш и сел на поезд, и я узнал об этом на второй день от третьих лиц, что само по себе диагноз. Достать его я не мог никак: до Сент-Этьена час с лишним, я не знал ни адреса родни, ни фамилии, а если бы знал — приехал бы к нему шестна-

дцатилетний мальчишка с сообщением, что за ним едут, и мальчишку этого он послал бы куда подальше и был бы прав.

Он сделал единственную вещь, которую в его положении делать нельзя: сменил место, не сменив имени. С точки зрения жандармерии он не спрятался, а сообщил новый адрес.

Я мысленно попрощался и занялся живыми.

Вторым был Шарло.

Шарло я видел один раз, в среду, в кафе на площади, и одного раза мне хватило. Ему было лет двадцать пять, он был красивый, шумный, и он рассказывал.

Рассказывал он хорошо. Он уже отшлифовал историю за три дня, у него появились паузы в правильных местах, он умел вовремя понизить голос, и слушали его человек шесть, из которых я не знал ни одного, а он, судя по всему, знал четверых.

Я подсел, поймал его в дверях и сказал ровно три вещи. Что через два дня его возьмут. Что он должен сегодня же уехать, и не по своим бумагам. Что если он этого не сделает, я его больше не знаю.

Шарло посмотрел на меня сверху вниз.

Потом он потрепал меня по щеке.

Я запомнил это движение до конца своих дней — и, что важнее, я запомнил, что в ту секунду не почувствовал ни обиды, ни злости. Обижаться на источник данных бессмысленно, а данные я получил исчерпывающие.

Вечером я разослал через Марселя одно слово всем, кого

мог достать: с Шарло не разговаривать, к Шарло не подходить, если Шарло подойдет сам — не знать его.

Марсель спросил, что за подлость.

Я сказал: не подлость, а отсечка.

Марсель не понял слова. Слово ему не понравилось, и он ушел злой.

Шарло взяли в субботу утром, дома, вместе с двумя из тех шестерых, что слушали его в кафе. Одного из шестерых, как выяснилось потом, не взяли никогда и никого не взяли рядом с ним, и я до сих пор думаю, что знаю почему.

Теперь про то, что у меня было.

Я расписал это в среду ночью, лежа под скошенным потолком, и с тех пор пересчитывал раз в неделю все четыре года.

Люди — четверо, из них годных полтора.

Марсель Лефевр, девятнадцать лет. Сила, преданность, ноль дисциплины, желание немедленно совершить что-нибудь громкое. Ходит по городу как человек, которому нечего скрывать, и это, как ни смешно, его лучшая маскировка. У него револьвер — «лебель» девяносто второго года, барабан на шесть, патронов три. Стрелял из него один раз в жизни, в карьере, по банке, и не попал.

Колетт Лефевр, четырнадцать. Не годна. Категорически. Записана в графу «не привлекать» большими буквами.

В четверг она между делом сообщила мне, что человек в пальто, который стоял тогда на углу, ходит обедать в «Прогре», на угол Республики, и обедает там один, и что она это видела дважды.

Я спросил, как она это видела дважды.

Она сказала: ходила смотреть.

Я подчеркнул слова «не привлекать» второй раз.

Дидье Люка, двадцать два. Наборщик. Заикается.

И я.

Оружие: три патрона.

Деньги: восемьсот двадцать франков, разложенные в трех местах, из которых два плохие. Для понимания: рабочий на заводе в Вильёрбанне получает в месяц около тысячи двухсот. Я держал в руках три четверти месячной зарплаты одного человека и должен был содержать на них подполье.

Документы: мои собственные, настоящие, и это единственная хорошая строчка во всей описи.

Транспорт: велосипед. Фургон прачечной — по вторникам. Мастерская Тибо — теоретически.

Помещения: ни одного.

Связь: голосом, лично, из рук в руки.

Репутация: героя. Не заслуженная ни на грамм и работающая как настоящая.

Я перечитал это мысленно два раза.

С таким имуществом в моей прежней жизни не начинали даже самые безнадежные. Я держал в руках чужие сводки по

таким группам: люди, у которых нет ничего, кроме желания, живут в среднем от четырех недель до трех месяцев, и я мог назвать причину провала заранее.

Единственное, чего в описи не было и что стоило дороже всего остального, — я сам знал эту сводку наизусть.

И еще одно, до чего я додумался не сразу, а числа двадцать восьмого, стоя в очереди за хлебом.

Карточка у меня была категории J3.

Их ввели летом того года и разбили всех по возрасту и по работе: младенцы, малыши, дети, потом J3 — от тринадцати до двадцати одного, потом взрослые, потом тяжелый труд, потом старики за семьдесят. J3 полагалась самая большая хлебная норма во всей стране, плюс сахар, плюс варенье, плюс шоколад, потому что растущему организму надо, а страна еще делала вид, что понимает, кому что надо.

Слово это уже пошло гулять по городу. В газетах писали про «нашу молодежь J3», в кафе так называли всех, кому нет двадцати, и говорили это с той смесью умиления и раздражения, с какой всегда говорят про чужую молодость.

Я стоял в очереди, слушал и понимал, что держу в руках лучший документ Франции.

J3 не досматривают. J3 глупый, J3 не при чем, J3 ездит на велосипеде и таскает в сумке хлеб, гайки и учебник географии. У J3 законный повод болтаться по улицам в любое время суток, потому что молодежь всегда болтается. И, что важнее всего, ни один полицейский на свете не может пред-

ставить себе, что штабную работу в его городе ведет существо, которому по карточке положен шоколад.

Я эту мысль потом развернул на всю сеть. Курьеры у меня были в основном младше семнадцати, и я знаю, чего мне это стоило.

Про Дидье Люка надо отдельно.

Я пришел к нему в четверг, в обеденный перерыв, во двор его легальной типографии, где он ел хлеб с луком, сидя на ящике.

Двадцать два года, узкие плечи, очки, замотанные ниткой на дужке. Он вздрогнул, увидев меня, и стал говорить, и на второй фразе застрял намертво.

Заикался он тяжело, с полной остановкой, и было видно, что он к этому привык и что окружающие привыкли не ждать.

Я подождал.

Не из деликатности. Мне было нужно, чтобы он договорил сам, потому что человек, за которого договаривают, перестает приносить информацию: он начинает приносить то, что за него договаривают.

Он договорил. Он сказал, что не спал четыре ночи. Что он держит в голове весь набор, который они делали, и что он думал сжечь очки, потому что по очкам его узнают, и это была первая по-настоящему интересная мысль, которую я услы-

шал в этом городе.

Потом он спросил, правда ли, что Ги умер, и правда ли, что я был там до конца.

Я сказал, что Ги умер.

На вторую половину вопроса я не ответил, и он услышал в этом молчании то, что все слышали в нем весь тот год.

Потом я его завербовал.

Не идеей. Идеи у него уже были, идей у них у всех было навалом, и от идей они и горели. Я дал ему задачу: перечислить всё, что в разгромленном цеху могло уцелеть и представлять ценность, по пунктам, к воскресенью. Шрифт. Валы. Реглет. Кто в городе покупает свинец и не задает вопросов. Кто из наборщиков сидит без работы.

Он выслушал, кивнул и перестал дрожать. Прямо на глазах, за полминуты.

Так работает всегда и со всеми. Человеку страшно не от опасности, а от отсутствия дела. Дайте перепуганному человеку список из шести пунктов, и он будет спать.

Уходя, я спросил про семью.

У него была мать в Живоре и был младший брат, которого в прошлом году взяли где-то на севере — не в бою, просто взяли, при облаве, вместе с людьми, оказавшимися на улице, — и увезли в Германию.

Он сказал это без всякого нажима, коротко и ровно, как говорят о том, что думают все время.

Я запомнил.

Я запомнил это как то, что делает человека надежным, потому что у него есть причина.

Потом, много позже, я вспомню этот разговор во дворе, с хлебом и луком, и пойму, что записал тогда не то. Причина, которая делает человека надежным, и причина, за которую его покупают, — одна и та же причина. Их не различить заранее. Я и не различил.

Половину этой недели я, впрочем, потратил не на людей, а на чужие воспоминания.

Это была самая странная работа в моей жизни, и я не могу подобрать для нее другого слова, кроме «перечитывать».

Я ложился, закрывал глаза и вытаскивал наугад какой-нибудь кусок из архива, доставшегося мне вместе с телом. Двор. Лето. Мальчишки играют в мяч. Молочник ставит бидоны у черной лестницы.

Мальчик, который это помнил, видел здесь мяч.

Я видел молочника.

Молочник приходил в семь. Это правильно. Но он приходил еще и после обеда, не каждый день, а раза два в неделю, и бидонов у него в эти разы не было. Он поднимался на третий этаж, к вдове Жерар, и сидел там минут двадцать, и весь двор считал, что понимает почему, и посмеивался. Возможно, весь двор был прав. Но вдова Жерар с тридцать восьмого года не платит за квартиру, а живет, и второй год не работает,

и это уже вторая нестыковка на одном человеке, а две нестыковки на одном человеке — это не совпадение, это адрес.

Дальше пошло гуще.

Консьержка в доме напротив держит в привратницкой стул для гостей, и на этом стуле в прошлом году сидели по очереди трое незнакомых, и всем троим она наливала.

У отца Робера Марена, с которым мальчик просидел четыре года за одной партой, служба в комиссариате Первого округа. Мальчик знал это как знают, что у кого-то отец пекарь. Я узнал это как расписание.

Окна пятого этажа в доме на углу смотрят прямо на арку, через которую я в ту ночь выходил. В этих окнах живет старуха, которая не спит.

Бакалейщик с рю Дюмон в позапрошлом году не имел ничего, а в этом поставил новую витрину. В сорок первом году во Франции никто не ставил новых витрин просто так.

К пятнице у меня в голове был не квартал, а схема.

Я перебрал за неделю шестнадцать лет чужой жизни и разобрал ее на составные части, как разбирают карбюратор: вот это нам понадобится, это выбросить, а вот эту деталь мальчик считал другом.

Мне это не было тяжело. Я хочу быть здесь честным: мне это не было тяжело ни секунды, и меня это даже не удивило.

Удивило другое.

Один раз, разбирая совсем уж мелочь — как они с Робером Мареном воровали яблоки на набережной, — я вдруг

обнаружил, что улыбаюсь.

Улыбался не я.

В четверг я шел по рю Виктор-Гюго и остановился у витрины.

Магазин был меховой, хороший, довоенный. На стекле висело свежее объявление: сообщалось, что предприятие переходит под управление временного администратора, назначенного согласно закону, с указанием даты, номера и фамилии администратора. Все три вещи были указаны аккуратно, и объявление было отпечатано в типографии, и внизу стояла печать.

Прохожие читали его и шли дальше. Двое обсудили, что мех теперь, наверное, подешевеет.

Я стоял и знал не то, что это подлость.

Я знал, что идет за этим, и в каком порядке, и с каким интервалом. Сначала считают. Потом отбирают дело. Потом отбирают дом. Потом собирают в одном месте, недалеко, на несколько дней, для порядка. Потом подают вагоны.

Я простоял у витрины секунд двадцать, посчитал в уме, сколько времени у меня есть, получил цифру больше года и пошел дальше.

Больше я к этому в тот год не возвращался.

В пятницу Марсель захотел, чтобы у нас было название.

Он сказал это торжественно, вечером, в мастерской, и, судя по лицу, готовился три дня. Он предложил два варианта. Оба были красивые. В одном была заря.

Я сказал: нет.

Он спросил почему.

Я сказал: потому что название — это то, что человек говорит, когда с ним разговаривают долго и подробно. Пока названия нет, ему нечего сказать, кроме имен, а имена я у него отберу отдельно.

Марсель обиделся.

Я смотрел на его обиженную физиономию под лампой в шестьдесят свечей и думал, что у всего, что я в жизни смотрел и ненавидел, было прекрасное название, а к середине второй части выяснялось, что сюжета под ним нет.

Вслух я этого, разумеется, не сказал. Некому.

Заодно я тогда же завел правило, которое здесь никто не соблюдал и которое соблюдал только я: время встречи — это время встречи. Пришел я в шесть. Марсель пришел в двадцать пять минут седьмого, Дидье — в половине, и оба искренне не поняли, чего я хмурюсь.

Ничего, подумал я. Через год поймете.

Через год поняли. Правда, к тому времени это стоило нам трех человек.

В ночь с субботы на воскресенье я ушел за город.

Комендантский час в свободной зоне был условным, а я к тому же был мальчишкой на велосипеде, у которого в корзине лежала мешковина и старая камера от колеса, и на любой вопрос имелся ответ: еду к тетке в Кайер, мать послала.

Место я выбирал два вечера и выбрал на третий.

Романтики в этом деле нет никакой. Есть требования, и их шесть.

Место не должно быть приметным — приметное найдут. Оно не должно быть совсем неприметным — тогда его не найду я. Оно не должно лежать там, где копают: не на огороде, не у изгороди, не под деревом, которое кто-нибудь спилит на дрова зимой сорок второго года, а спилят зимой сорок второго все, до чего дотянутся. К нему должен быть повод подойти. От него должно быть видно подход. И вода — вода не должна стоять, иначе через год я откопаю кашу.

Я нашел это на седьмом километре, за Кайером: старый межевой камень на краю заброшенного участка, склон на юг, сухо, и в сорока шагах — тропа, по которой люди ходят за хворостом, и повод у меня, стало быть, тоже хворост.

Копал я час с четвертью и запомнил, что это долго. Тело было легкое, но силы в нем было на подростка, и мне пришлось это учесть в расчетах на будущее, как учитывают в расчетах любой недостающий ресурс.

В яму пошла жестянка из-под галет, обмотанная промасленной мешковиной.

В жестянке:

Триста франков — из тех, которых не существовало.

Свидетельство о рождении, чистое, довоенного образца, украденное мною в четверг в мэрии Пятого округа из папки, лежавшей на подоконнике. Оно пролежало там без движения два с лишним года и пригодилось в июле сорок второго.

Нож. Спички в пробирке. Свеча.

Две банки сардин, банка тушенки, сахар в тряпице.

Носки шерстяные, две пары. Шарф. Перчатки.

Карта департамента, вырванная из школьного атласа Колетт, за что мне влетело от матери в понедельник.

И маленький список — единственный список, который я себе позволил за всю войну: восемь цифр без пояснений, читаемых только мной.

Отдельно, в тряпке, легли двадцать патронов к «лебелю», купленные у одного человека в Гийотьере за сумму, о которой мне до сих пор неприятно вспоминать.

Марсель про эти патроны не узнал ни в тот год, ни в следующий.

Никто не узнал ни про эту точку, ни про три остальные, которые я заложил в декабре и в январе. Ни мать. Ни Колетт. Ни Тибо, который под конец знал про меня больше всех.

Принцип был простой, и я вывел его не сам — его вывела за меня чужая работа, которую я двадцать лет делал добросовестно. Сеть проваливается целиком. Не наполовину, не на четверть, а целиком, за трое суток, и человек, оставшийся

после этого, должен иметь возможность встать с нуля в одиночку. Если у него ничего нет — он идет к своим. К своим он приводит хвост, и тогда проваливается вторая сеть.

Я забросал жестянку землей, притоптал, накидал сверху палой листвы и старого хвороста и посидел рядом на корточках, отдыхая.

Ночь была сырая и черная, снизу светился Лион — плохо, вполнакала, город экономил.

У меня в этом мире не было ничего своего. Ни имени, ни родни, ни страны, ни года, ни единого человека, которому я мог бы сказать хоть одно правдивое слово о себе. Мать, которую я целовал в лоб перед сном, была не моя. Сестру я к пятнице уже прикидывал, куда можно применить. Дом мой сгорел с той стороны времени, и я знал даже, в каком году он сгорит окончательно, и что не останется ни строчки.

А в сорока шагах от тропы, под мешковиной и палой листвой, лежала жестянка из-под галет, в которой было ровно то, что я туда положил, и ничего сверх этого, и она собиралась пролежать там столько, сколько нужно, и не задать мне ни одного вопроса.

Единственная вещь в этом мире, которой я мог доверять полностью.

Я встал, отряхнул колени и поехал домой.

Глава 4

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.